

Певица Жозефина или Мышиный народ. Франц Кафка

Нашу певицу зовут Жозефина. Кто ее не слышал, тот не знает, как велика власть пения. Нет человека, которого ее искусство оставило бы равнодушным, и это тем более примечательно, что народ наш не любит музыки. Самая лучшая музыка для него – мир и покой; нам слишком тяжело живется, и если мы даже порой пытаемся стряхнуть с плеч повседневные заботы, то меньше всего тянет нас в такие далекие сферы, как музыка. И нельзя сказать, чтобы это нас огорчало, отнюдь нет: больше всего мы ценим у себя деловую сметку и лукавый юмор, они, кстати, и крайне нам нужны, и пусть бы даже нас – случай маловероятный – прельщало то наслаждение, какое будто бы дает музыка, неважно, мы с улыбкой примирились бы с этим лишением, как миримся с другими. Жозефина среди нас исключение; она и любит музыку и умеет ее исполнять; она у нас одна такая; с ее уходом музыка Бог весть как надолго исчезнет из нашей жизни.

Я не раз пытался осознать, как же это у нас получается с музыкой. Ведь мы напрочь лишены музыкального слуха; отчего же нам понятно Жозефино пение? Или же – поскольку Жозефина это решительно отрицает – отчего мы считаем его понятным? Проще всего было бы сказать, будто ее пение так восхитительно, что увлекает и тупицу, но такой ответ не может нас удовлетворить. Будь это так, пение Жозефины производило бы на нас впечатление чего-то необычайного, словно из ее горла льются дивные, еще не слышанные звуки, словно нам трудно было бы даже их воспринять, если бы нас не сроднило с ними Жозефино пение. В действительности ничего подобного: я и сам не испытываю такого чувства и не замечаю его у других. Напротив, в своем кругу мы не скрываем друг от друга, что как пение Жозефино пение немногого стоит.

Да и можно ли назвать это пением? Хотя мы и немзыкальны, пение, как вековая традиция, живет в народной памяти; в прошлом у нас существовало пение; об этом говорят легенды, сохранились и тексты песен, но никто, конечно, не умеет их исполнять. Итак, понятие о том, что такое пение, нам не чуждо, однако Жозефино пение никак с ним не вяжется. Да и можно ли назвать это пением? Не просто ли это пение? Правда, все мы под надежной защитой. С Жозефиной лучше не говорить об этом. «Вот еще, нужна мне ваша защита!» – заявляет она. «Посмотрим, что ты запоешь без нас!» – думаем мы про себя. Впрочем, это даже не возражение, скорее детская взбалмошность и детская неблагодарность; отец подобные выходки пропускает мимо ушей.

Но тут возникает нечто, плохо вяжущееся с подобным взаимоотношением Жозефины и народа. Жозефина, оказывается, другого мнения, она считает, что это она защищает народ. Ее пение якобы спасает народ от всяких политических и экономических трудностей – вот какая ему присуща власть, а если оно и не устраняет самые трудности, то по меньшей мере дает нам силы их сносить. Жозефина, правда, этого не говорит открыто ни этими, ни другими словами – она и вообще-то мало что говорит, не в пример нашим краснобаям, но об этом вещают ее сверкающие глаза, ее крепко стиснутые зубы – у нас редко кто умеет держать язык за зубами, она же это умеет. При каждом неприятном известии, а бывает, что они сыплются на нас, как из мешка, – в том числе ложные и непроверенные – Жозефина вскакивает, хотя обычно усталость клонит ее долу, она вскакивает, вытягивает шею и, словно пастух, чующий приближение грозы, окидывает взглядом свою паству. Бывает, что своенравные, балованные дети предъявляют нелепые претензии; у Жозефины они все же как-то обоснованы. Разумеется, она не спасает нас и не придает нам силы; легче легкого выставить себя спасителем такого народа, как наш, – многотерпеливого, беспощадного к себе, безоглядного в своих решениях, бестрепетно глядящего в глаза смерти и разве только с виду робкого в атмосфере безрассудной отваги, в коей ему приходится существовать, и притом столь же плодовитого, сколь отважного, – легче легкого, говорю я, выставить себя задним числом спасителем такого народа, который вновь собственными силами вызволил себя из беды, пусть и ценою жертв, от которых у ученого историка – как ни мало мы интересуемся историей – волосы становятся дыбом. И все же это верно, что в годину испитаний мы особенно стремимся на концерты Жозефины. Ввиду надвигающейся угрозы мы смиряемся, притихаем и еще послушнее, чем обычно, сносим Жозефины властные замашки: мы охотно собираемся и в этой дружественной тесноте отдыхаем от гнетущих нас вопросов; мы словно в последний раз перед битвой торопимся – ведь время не терпит, Жозефина об этом часто забывает – осушить сообща кубок мира. Это не столько концерт, сколько народное собрание, причем такое собрание, на котором с трибуны не доносится ничего, кроме еле различимого писка: этот час слишком нам дорог, чтобы растратить его на пустую болтовню. Конечно, такая роль не могла бы удовлетворить Жозефину. Правда, при всей своей повышенной мнительности, вызванной ее неясным положением в обществе, Жозефина многого не замечает, ибо ослеплена самомнением, а многого не склонна замечать, тем более что в этом ее поддерживает рой льстецов, хлопочущих таким образом и в наших интересах; но петь между прочим, где-то на отшибе, какой-то сбоку припекой – для такой малости, хоть это и отнюдь не малость, Жозефина не стала бы швыряться своим искусством.

Но она им и не швыряется, ее искусство все же находит признание. Хоть мы в душе и заняты другим и храним молчание не только с тем, чтобы лучше слышать, – кое-кто даже уткнулся носом в меховой воротник соседа и не поднимает глаз, так что кажется, будто Жозефина зря разливается там наверху, – а все же ее писк в какой-то мере доходит и до нас. Этот писк, что возносится ввысь там, где все уста скованы молчанием, представляется нам голосом народа, обращенным к каждому из нас в отдельности; в этот критический час Жозефинин жидкий писк напоминает нам жалкую судьбу нашего народа, затерянного в сумятице враждебного мира. Жозефина утверждает себя – этот никакой голос, это никакое искусство утверждает себя и находит путь к нашим сердцам; и нам приятно об этом думать. Настоящего певца, певца-мастера, если бы он среди нас объявился, мы бы в такое время и слушать не стали, мы бы единодушно отвергли подобное выступление как бессмыслицу. Жозефине – Боже упаси – незачем знать, что, если мы ее слушаем, это, в сущности, говорит не в пользу ее пения. Кое о чем она, правда, догадывается, а иначе не стала бы с таким жаром уверять, будто мы ее не слушаем, что, впрочем, не мешает ей продолжать свои выступления и за писком забывать об этих догадках.

Но есть еще один довод в Жозефину пользу: мы все же в известной мере ее слушаем и даже так, пожалуй, как слушают настоящего певца; при этом она производит на нас впечатление, какого напрасно домогался бы более искусный певец и которое зависит именно от недостаточности ее умения и голосовых средств. Объясняется же это преимущественно нашими жизненными условиями.

Наш народ не знает юности, а разве лишь короткое детство. То и дело раздаются у нас требования дать детям волю, окружить их лаской и вниманием, признать за ними право жить без забот, смеяться, резвиться, играть, и не только признать это право, но и всячески претворять его в жизнь; такие требования часто слышишь, и вряд ли кто против них возражает, возражать против этих требований и в самом деле невозможно, но претворить их в жизнь в наших условиях тоже невозможно; мы единодушно поддерживаем их и даже что-то предпринимаем, но не успеваем оглянуться, как все опять возвращается к старому. Наши условия таковы, что едва ребенок начинает

ходить и кое-как разбираться в окружающем мире, как он уже вынужден о себе заботиться наравне со взрослыми. Чтобы промыслить себе пропитание, нам приходится жить в рассеянии, на обширных территориях, где нас окружают бесчисленные враги и подстерегают самые неожиданные опасности; мы не можем исключить наших детей из повседневной борьбы за существование, так как это навлекло бы на них гибель. Наряду со столь прискорбными причинами есть, правда, и приятная: это свойственная нашему племени плодовитость. Одно поколение у нас неудержимо теснит другое, и каждое так многочисленно, что у детей нет времени оставаться детьми. Другие народы заботливо растят свою молодую поросль, там существуют школы, откуда ежедневно изливаются потоки детей – это будущее народов, и день за днем там все те же дети, состав их подолгу не меняется, у нас же нет школ, зато из недр народа через кратчайшие промежутки времени изливаются необозримые потоки детей: поглядите, как они весело визжат и попискивают, ибо толком пищать еще не умеют; как катятся кубарем, а то и кувырком, под напором теснящих сзади, ибо ходить еще не умеют; как слепо увлекают все за собой, ибо глаза их, еще не видят, – наши дети! Да не так, как в тех школах – день за днем все те же дети, – нет, все время другие, непрерывно, бесконечно; не успел ребенок появиться, как следом уже теснятся новые детские мор-дашки, неотличимые в этом множестве, в этой спешке, розовые от счастья. Сколь это ни прекрасно и как ни завидуют нам по праву другие народы, мы, разумеется, не можем дать нашим малышам настоящего детства. А это ведет к неизбежным результатам. Неизжитое, неискоренимое детство не оставляет нас и в зрелые годы; в противовес тому лучшему, что в нас есть, – нашей надежной практической сметке – мы иногда ведем себя на удивление нелепо, именно так, как ведут себя дети, – бываем безрассудны, расточительны, великодушны, легкомысленны, и все это без малейшего оправдания и смысла, единственно ради пустой забавы. И если даже радость, какую это нам дает, и несравнима с полноценной детской радостью, то нечто подобное нам все же свойственно. К этим-то детским чертам в народе и взывает Жозефина.

Но запоздалая детскость сочетается у нас с преждевременным увяданием – детство и старость у нас не такие, как у других народов. Мы не знаем молодости, мы мгновенно созреваем, и затянувшаяся зрелость накладывает заметный отпечаток усталости и безнадежности на жизнерадостную в общем-то и жизнеспособную нашу натуру; возможно, отсюда и нелюбовь к музыке; мы слишком стары для музыки, связанное с ней волнение, все эти порывы и взлеты нам тяжелы, и мы устало от нее отмахиваемся; недаром мы ограничили себя писком; немного писку от случая к случаю – вот и все, что нам нужно. Возможно, и среди нас появляются музыкальные дарования, но при нашем характере они неизбежно глухнут, не успев о себе заявить.

Жозефине же мы не возбраняем петь или пищать сколько ей вздумается и как бы она это ни называла, – ее писк нам не мешает, он нам по душе, мы его приемлем; если в нем и присутствуют какие-то элементы музыки, то они сведены к неощутимому минимуму; таким образом сохраняется известная музыкальная традиция, но она ни в какой мере нас не обременяет.

Но Жозефина дает и нечто большее этому своеобразному народу. На ее концертах, особенно в трудные времена, одна только зеленая молодежь еще интересуется певичей, лишь наиболее юные из нас с удивлением смотрят, как она выпячивает губы, как выталкивает воздух сквозь точеные передние зубки, как придя в экстаз от собственных рудад, падает замертво и пользуется этим для того, чтобы подготовиться к новым, еще более невнятным воспарениям. Вся же масса слушателей, как это по всему видно, уходит в себя. В эти скупые промежутки роздыха между боями народ грезит; каждый как бы расслабляет усталые мускулы, словно ему, безотказному труженику, в кои-то веки дано растянуться и вволю понежиться на просторном и теплом ложе. В эти грезы нет-нет да и вплетается Жозефинин писк; пусть она это называет трелью, а мы – стрекотом, не важно, здесь он на месте, как нигде, как музыке редко выпадает счастье прийтись к месту и ко времени. Чем-то эта музыка напоминает народу короткое бедное детство, утраченное, невозвратное счастье, но что-то в ней есть и от его сегодняшней деятельной жизни, от его маленького, упорного, неопостижимого, неистребимого оптимизма. И все это возглашается не гулками, раскатистыми звуками, а тихо, доверительным шепотком, временами даже с хрипотцой. И, разумеется, это писк. А как же иначе? Ведь писк – язык нашего народа, только иной пищит всю жизнь и этого не знает, здесь же писк освобожден от оков повседневности и на короткое время освобождает и нас. Не удивительно, что выступления Жозефины так нас привлекают и мы стараемся их не пропускать.

Однако от этого до утверждения Жозефины, будто она в такие минуты вливает в нас новые силы и так далее и тому подобное, очень далеко. Я говорю о простых людях, а не о Жозефиных льстецах. «А как же! – восклицают они со свойственной им развязной уверенностью. – Чем же вы объясните наплыв публики, полные сборы, особенно в такое время, когда нам грозит опасность? И разве не бывало случаев, когда популярность этих концертов даже мешала нам принять необходимые меры!» Последнее, к сожалению, справедливо, хоть и не служит к Жозефиной чести, особенно если принять во внимание, что, когда такие сборища внезапно разгоняются врагом и немало наших платится жизнью, сама Жозефина, виновница их гибели, быть может, даже приманившая врага своим писком, но всегда занимающая самое безопасное место, пользуется этим, чтобы улизнуть первой под защиту своей свиты. Ни для кого это, собственно, не секрет, что, однако, не мешает нам по-прежнему ломиться на ее концерты, где и когда б она ни выступала. Отсюда можно заключить, что Жозефина поставлена у нас чуть ли не над законом, что ей дозволено все, чего ни пожелаешь, даже в ущерб нашей общей безопасности, что ей все прощается. Если бы это было так, можно было бы понять притязания Жозефины: в этой свободе, дарованной ей народом, в этом исключительном, немислимом ни для кого другого положении, несовместимом с существующими законами, можно было бы усмотреть признание того, что народ не понимает Жозефины, как сама она неустанно твердит; что он лишь бессильно восхищается ее искусством и, чувствуя себя ее недостойным, хочет возместить эту обиду столь неслыханным подарком: подобно тому как искусство Жозефины превосходит его понимание, так он и особу ее хочет поставить вне своего контроля и власти. Но ничего этого нет и в помине: быть может, кое-что в чем народ и капитулирует перед Жозефиной, но он ни перед кем не капитулирует безоговорочно, и это верно и в отношении Жозефины.

С давних пор, чуть ли не с начала своей артистической карьеры, Жозефина добивается, чтобы во внимание к ее пению ее освободили от всякой работы: пусть с нее снимут заботу о хлебе насущном и все, что связано с борьбой за существование. Пусть! Очевидно, за нее трудится народ. Натуры горячие и впечатлительные – а такие и у нас бывали, – сраженные необычностью этого требования и умонастроения, способного такие требования измыслить, могли бы, пожалуй, счесть его законным. Не то народ – он делает свои выводы и спокойно это требование отклоняет. Он даже не дает себе труда опровергнуть Жозефины доводы. Так, Жозефина доказывает, что напряжение, связанное с работой, вредит ее голосу; пусть даже работа менее утомительна, чем пение, она отнимает у нее возможность отдохнуть от одного концерта и собраться с силами для другого – все же вместе ее изнуряет и не дает ее таланту достигнуть совершенства. Народ все это слышит, но оставляет без внимания. Этот столь отзывчивый народ вдруг не проявляет никакой отзывчивости. А иногда его отказ бывает так суров, что даже Жозефина приходит в смущение; она как будто сдается, работает, как полагается, поет, как умеет, но ее хватает ненадолго – глядишь, она опять с новыми силами вступает в борьбу, тут ее силы, видимо,

неисчерпаемы.

Так выясняется, что Жозефине, собственно, не того и нужно, на что она, по ее словам, претендует. Человек разумный, она не отлынивает от работы, в нашем народе о лежебоках и слыхом не слыхали; добейся она даже своего, она бы ни в чем не изменила образа жизни, работа не мешала бы ей петь, да и пела бы она ничуть не лучше; единственное, что ей нужно, это публичное непререкаемое, непреходящее признание ее искусства, такое признание, которое неизмеримо превышало бы все известное в этом смысле до сих пор. Но хотя все прочие блага кажутся Жозефине достижимыми, это ей упорно не дается. Может быть, ей надо было с самого начала повести борьбу в другом направлении; может быть, она уже и сама осознала свою ошибку; но путь назад ей закрыт, отступить поздно, это значило бы отречься от себя; поневоле приходится ей с этим пасть или победить.

Если бы у Жозефины, как она уверяет, были враги, они могли бы, и пальцем не шевеля, с усмешкой наблюдать эту борьбу. Но у нее нет врагов, а найдись даже у кого-нибудь что ей возразить – не важно; вся борьба в целом никому не доставляет удовольствия. Народ занимает в ней такую бесстрастную, судейскую позицию, какая ему и несвойственна и наблюдается у нас разве только очень редко, И если даже кто-нибудь в этом частном случае и одобряет позицию народа, то мысль, что это может постигнуть его, отравляет ему всякую радость. В отказе народа, как и в требовании Жозефины, речь, таким образом, идет не о существовании вопроса, а о том, что народ может вдруг отгородиться от одного из своих сынов глухой стеной, тем более непроницаемой, что он еще недавно проявлял о нем – мало сказать, отеческую – поистине самозабвенную заботу.

Будь это не народ, а отдельный человек, можно было бы обвинить его в сомнительной игре: он якобы лишь для виду уступал Жозефине, прикрывая этим свое неугасимое желание в некий прекрасный день покончить со всякими поблажками; он и шел-то на них в твердом намерении рано или поздно положить им предел и уступал даже больше, чем следует, чтобы ускорить дело – то есть, вконец избаловав Жозефину, подвигая ее на все новые и новые причуды, дожидаться и этого, и напоследнего требования, а уж тогда, как он и собирался, окончательно поставить ее на место. На самом деле ничего этого нет: народу не нужны такие уловки, не говоря уже о том, что он действительно почитает Жозефину и не раз это доказал; к тому же требование Жозефины так несуразно, что даже ребенок мог бы ей предсказать, чем все кончится. Возможно, догадки эти не чужды и самой Жозефине и придают ее обиде особенную горечь.

Но если Жозефине и не чужды такие догадки, борьбы она все же не прекращает. За последнее время борьба даже обострилась; и если до сих пор она носила характер словесной тяжбы, то теперь наша дива пускается на средства, которые кажутся ей более действенными, нам же представляются лишь более для нее опасными.

Некоторые наблюдатели считают, что Жозефина потому решила идти напролом, что чувствует приближение старости, она-де теряет голос, и, следовательно, ей самое время вступить в последний бой за свое признание. Лично меня это не убеждает. Будь это так, Жозефина не была бы Жозефиной. Для нее не существует ни старости, ни опасения потерять голос. Если она чего-то домогается, то ее понуждают к тому не соображения внешнего порядка, а внутренняя последовательность, верность себе. Она тянется к высшему венцу не потому, что он случайно висит ниже, а потому, что он наивысший; будь это в ее власти, она повесила бы его еще выше.

Такое презрение к внешним трудностям не мешает ей прибегать к самым недостойным средствам. Жозефина не сомневается в своем праве, а стало быть, ей безразлично, как его достигнуть, тем более что в этом мире, как она считает, с щепетильностью далеко не уйдешь. Она, быть может, поэтому переносит борьбу из области пения в другую, менее для нее важную. Почитатели ее таланта повторяют ее заявления, будто она чувствует себя в силах петь так, чтобы народ во всех своих слоях, вплоть до самой потаенной оппозиции, испытал истинное наслаждение – не то наслаждение, какое он, по его словам, испытывал до сих пор, а то, какого желала бы для него сама Жозефина. Но, добавляет она, не в ее правилах унижать высокое и потакать низменному, а потому пусть уж все остается как есть. Иное дело – ее борьба за освобождение от работы; правда, и эту борьбу она ведет во имя искусства, но хотя бы не драгоценными средствами искусства, так как для столь низменной борьбы все средства хороши.

Так распространился слух, будто Жозефина, если ей не пойдут навстречу, намерена сократить свои колоратуры. Я лично понятия не имею о каких колоратурах. Ни разу в ее пении не замечал я колоратур. Жозефина же якобы собирается не ворсе отказаться от колоратур, а покамест только сократить их. Она даже привела свою угрозу в исполнение, хоть я и не нашел в ее пении никаких перемен. Народ слушал ее, как всегда, никто не вспомнил о колоратурах, да и отношение к Жозефинуному требованию осталось прежним. Однако Жозефина не только по наружности, но и по натуре не лишена грации. После того концерта, должно быть, спохватившись, что ее решение насчет колоратур было слишком жестоким – или слишком внезапным – для народа, она обещала вернуться к своим колоратурам во всей их неприкосновенности. Но после следующего же концерта, опять передумав, объявила, что окончательно и бесповоротно отказывается от колоратур, пока не будет вынесено благоприятное для нее решение. Все эти заявления, решения и контррешения народ пропускает мимо ушей. Так погруженный в раздумье взрослый человек не внемлет лепету ребенка: ребенок, как всегда, его умиляет, но он от него бесконечно далек.

Но Жозефина не сдается. Недавно она объявила, что ушибла на работе ногу и ей трудно петь стоя. Она же поет только стоя, а потому вынуждена сократить и самые песни. Но хоть она и начала припадать на ногу и выходила к публике не иначе, как опираясь на своих почитателей, никто не давал ей веры. Если даже принять в соображение особую чувствительность ее хрупкого тельца, нельзя забывать, что мы рабочий народ, а Жозефина плоть от нашей плоти; когда бы мы стали обращать внимание на каждую ссадину и царапину, весь народ только бы и делал, что хромал. Но хоть Жозефину и водили под руки, как увечную, и она в таком виде охотно показывалась публике, это не мешало нам с восторгом ее слушать, не обижаясь на сокращенную программу.

Но нельзя же вечно хромать, и Жозефина придумала нечто новое: она утомлена, у нее тяжелые настроения и душевный упадок. Так помимо концерта нам преподносят и спектакль. За Жозефиной тянется ее свита, ее уговаривают, закливают петь. Она бы рада, но не может. Жозефине льстят, ее утешают, чуть ли не на руках относят на приготовленное место. Заливаясь беспричинными слезами, Жозефина уступает, она из последних сил пытается запеть – стоит, поникшая, забыв даже раскинуть руки и лишь безжизненно свесив их вдоль тела, что создает впечатление, будто они у нее коротковаты, – итак, она пытается запеть, но тщетно, голова ее падает на грудь, и на глазах у всей публики певица теряет сознание. А затем собирается с духом и поет как ни в чем не бывало, я бы даже сказал – не хуже, чем всегда; разве только изощренному слуху, улавливающему малейшие нюансы, заметно необычное волнение нашей дивы, но от этого ее пение только выигрывает. Зато к концу программы усталости ни следа: твердой поступью, если это можно сказать о ее щепотливой

походочке, она удаляется, отказавшись от услуг своих почитателей, и холодным испытующим взором окидывает почитательно расступающуюся перед ней толпу.

Так было еще недавно; на днях же стало известно, что Жозефина не явилась на очередной концерт. Ее разыскивают не только почитатели, у них нет недостатка в помощниках, но все напрасно – Жозефина исчезла, она больше не хочет петь, не хочет даже, чтобы ее просили петь, на этот раз она и в самом деле нас покинула.

Странно, что наша умница так просчиталась, хотя, возможно, это даже не просчет; махнув на все рукой, она следует велению своей неотвратимой судьбы, ибо судьба ее в нашем мире может быть только очень печальной. Она сама отказывается от пения, сама разрушает ту власть, которую приобрела над душой своих слушателей. И как только она приобрела эту власть – ведь эта душа для нее за семью печатями! Жозефина прячется и не поет, а между тем народ-властелин, ничем не обнаруживая разочарования, незыблемая, покоящаяся в себе масса, которая, что бы ни говорила видимость, может только раздавать, а не получать дары, хотя бы и от той же Жозефины, – народ продолжает идти своим путем.

Жозефина же осуждена катиться вниз. Близка минута, когда прозвучит и замрет ее последний писк. Она лишь небольшой эпизод в извечной истории нашего народа, и народ превозможет эту утрату. Легко это нам не дастся, ибо во что превратятся наши собрания, проводимые в могильной немоте? Но разве не были они немыми и с Жозефиной? Разве на деле ее писк был живее и громче, чем он останется жить в нашем воспоминании? Разве не был он и при ее жизни не более чем воспоминанием? Не оттого ли наш народ в своей мудрости так ценил ее пение, что оно в этом смысле не поддавалось утрате?

Как-нибудь обойдемся мы без нашей певицы, что же до Жозефины, то, освобожденная от земных мук, кои, по ее мнению, уготованы лишь избранным, она с радостью смешается с сонмом наших героев и вскоре, поскольку история у нас не в большом почете, будет вместе со своими собратьями предана всеискупляющему забвению.